

АЛЕКСАНДР РАЗУМИХИН

ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ

Время снятия с Пушкина опалы в 1826 году и возвращения его из изгнания совпало для поэта с рядом значимых лично для него событий. Человек чувствительный, он перенёс тогда несколько глубоких потрясений. Вышло так, что свобода, о которой он мечтал столько времени, обернулась чередой смертей вокруг него.

1826 год – смерть крупнейшего русского литератора той эпохи, автора уникальной книги “Письма русского путешественника” и создателя многотомной “Истории государства Российского”, одного из первых обобщающих трудов по истории России, – Карамзина. Это о нём скажет Пушкин:

“Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотеле им не известную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка – Колумбом”.

В честь человека, “принадлежащего истории”, Пушкин позже издание своего “Бориса Годунова” станет предварять словами:

“Драгоценной для россиян памяти Николая Михайловича Карамзина сей труд, гением его вдохновенный, с благоговением и благодарностью посвящает Александр Пушкин”.

И тот же, **1826 год** – казнь через повешение пятерых участников попытки государственного переворота, когда на площадь были выведены полки, чтобы не допустить присяги Николаю. Вряд ли Пушкина тогда взволновал факт, что среди членов тайных обществ, прозванных декабристами, убитых было немного. Пострадал от царской карточки и тонул, провалившись под лёд, при попытке переправиться через Неву, прежде всего, простой люд. Большинство причём не были даже в солдатских шинелях (боюсь, сегодня для многих итоги трагедии станут удивительным открытием: среди черни – 903 убитых, малолетних – 150, женщин – 79, нижних солдатских чинов – 282). Но последовавший приговор тем, кому, с точки зрения закона, вменялась вина покушения на цареубийство, бунта и воинского мятежа, а среди них было немало по-приятельски знакомых Пушкину, не мог оставить его равнодушным. Тем более, в числе сосланных оказались лицейские друзья Пушкина Пущин и Кюхельбекер!

Позже декабристов возведут в героев-мучеников, не пожалевших своей жизни ради обездоленного народа. Тезис о самопожертвовании ради общего дела сыграл чуть ли не основную роль в становлении интеллигенции. А создал (сидя в Лондоне: оттуда было виднее!) мифическую легенду о декабристах А. И. Герцен. Но не думаю, что Пушкин думал подобным образом. Впрочем, ещё более странным будет, если мы позволим себе предположить, будто поэт тогда мог рассуждать, например, о том, что решившие бунтовать дворяне, обманывая своих солдат, использовали, как нынче их называют, классические

технологии “цветных революций”. Таких понятий в то время просто ещё не существовало. Так что главным для Пушкина была горечь за страдания друзей.

Но и тут сам побывавший в шкуре опального поэт был не курсе истинного положения декабристов. Первоначальные рудники сменились у них поселением, и со временем всё же условия жизни сосланных стали легче. До какой степени? На этот счёт существуют глубокие разногласия и идут споры. Допускаю и понимаю, что даже в силу удалённости от центра в отношении к сосланным не могли не происходить изменения в лучшую сторону. Но трудно согласиться с тем, если верить работам М. Н. Гернета “История царской тюрьмы” (в 5-ти тт.) и М. О. Цетлина “Декабристы: Судьба одного поколения” (парижское издание), будто каторжную работу ссыльным скоро превратили “в прогулку или пикник с полезной гимнастикой”. Уже сам характер изложения заставляет усомниться в правдивости написанного:

“Материально декабристы ни в чём не нуждались. За 10 лет пребывания на каторге заключённые получили от родственников, не считая бесчисленных посылок вещей и продовольствия, 354.758 рублей, а жёны их – 778.135 рублей, и это только официальным путём; несомненно, им удавалось получать деньги и тайно от администрации”.

“В 1828 году с декабристов сняли кандалы. В том же году им разрешили “выстроить во дворе два небольших домика: в одном поставили столярный, токарный и переплётный станки для желающих заниматься ремёслами, а в другом – фортепьяно”.

“Работали понемногу на дороге и на огородах. Случалось, что дежурный офицер упрасивал выйти на работу, когда в группе было слишком мало людей. Завалишин так описывает возвращение с этих работ: “возвращаясь, несли книги, цветы, ноты, лакмоста от дам, а сзади казённые рабочие тащили кирки, носилки, лопаты... пели революционные песни”.*

“Высланные на поселение получали по 16 десятин пахотной земли, солдатский паёк и одежду два раза в год. Неимущим выдавались пособия. Но на землю селились мало. Предпочитали служить, как Кюхельбекер и др., или работать самостоятельно, как Якушкин, имевший в Якутской школе, которую окончил 1600 мальчиков. Ни то, ни другое не запрещалось”.

Почему к М. Н. Гернету и М. О. Цетлину у меня большого доверия не возникает? Потому что вижу и понимаю: обелять царя Николая I начали отнюдь не сегодня.

И повесил, и отправил кого на каторгу, кого на Кавказ царь по двум причинам, не знаю, какая из них для него являлась более существенной: это было продиктовано необходимостью в борьбе за власть (последующие события в Польше и судьба его брата Константина тому подтверждение) и чувством страха перед возможностью повторения чего-то подобного.

1827 год – скорострительная смерть весной четвероюродного по материнской линии брата Дмитрия Веневитинова. Всего лишь осенью 1826-го тот по протекции княгини Зинаиды Волконской перебрался из Москвы в Петербург, поступив на службу в Азиатский департамент Министерства иностранных дел. Поселился в доме Ланских и 2 марта, перебегая легко одетым с бала в доме Ланских в свой флигель, Дмитрий простудился. Болезнь переросла в тяжёлую форму пневмонии, от которой он 15 марта умер, не дожив до 22 лет. Тело бы-

* Автор “Записок декабриста” Д. И. Завалишин (двоюродный брат поэта Ф. И. Тютчева) в тайном обществе официально не состоял, но постоянно общался с декабристами, “разделял их идеи”. Будучи сослан, знал и видел немало из того, что не укладывалось в героические образы декабристов, которых ещё при жизни стали превращать в романтических “рыцарей из стали”. Его описания единомышленников добавляли больше презрения к этим возмутителям, чем гордости. Поэтому многим Дмитрий Завалишин виделся “искажителем действительности”, “клеветником”, а его воспоминания считаются необъективными и давно подвергаются сомнению исследователями. В этом ряду, к примеру, высказывание Завалишина о своих соратниках по сибирской ссылке: “Не укрепясь ни ясным сознанием, ни нравственною силою, они не выдержали гнёта тяжёлых обстоятельств; отступили назад оттого, что не умели идти вперёд, и с потерю главного своего достоинства – нравственного к себе уважения и значения, заимствованных от идей, которых они были представителями...” Он стал первым, кого сначала сослали в Сибирь, как преступника по первому разряду, а затем выслали обратно в Европу (российскую), причём под строгий полицейский надзор. Впервые эти воспоминания были опубликованы в Германии (1904). Советское декабристоведение книгу никогда не переиздавало – так “неудобный декабрист” Дмитрий Завалишин был предан забвению.

ло отправлено в Москву. На похоронах брата на кладбище Симонова монастыря* Пушкин был вместе с А. Мицкевичем.

1828 год – смерть старушки-“мамушки”. Через 7 лет Пушкин помянет её добрым словом в стихотворении “...Вновь я посетил...”.

1829 год – убит в Тегеране Грибоедов. Пушкин его помянет в “Путешествии в Арзрум во время похода 1829 года”. Если вдуматься, их и впрямь многое объединяло. Начиная с восприятия мятежа декабристов: это тѣзке Пушкина приписывают пренебрежительную характеристику заговора: “Сто прапорщиков хотят перевернуть Россию!” И кончая отношением к так называемой “передовой части” общества, преданно смотревшей на Запад.

“Воскреснем ли когда от чужевластья мод, // чтоб умный, бодрый наш народ // хотя б по языку нас не считал за немцев!” – это Грибоедов. “Она по-русски плохо знала, // Журналов наших не читала, // И выражалася с трудом // На языке своём родном...” – ирония Пушкина явно имела отношение к тем, кого сам поэт величал чернью, а Константин Аксаков чуть позже, в середине XIX века, назовѣт, в противовес народу, публикой:

“Средоточие публики в Москве – Кузнецкий мост. Средоточие народа – Кремль. Публика выписывает из-за моря мысли и чувства, мазурки и польки; народ черпает жизнь из родного источника. Публика говорит по-французски, народ – по-русски. Публика ходит в немецком платье, народ – в русском. У публики – парижские моды. У народа – свои русские обычаи.”

Публика спит, народ давно уже встал и работает. Публика работает (большой частью ногами по паркету) – народ спит или уже встаѣт опять работать. Публика презирает народ – народ прощает публике. Публике всего полтора года лет, а народу годов не сочѣшь. Публика преходяща – народ вечен. И в публике есть золото и грязь, и в народе есть золото и грязь; но в публике грязь в золоте, в народе – золото в грязи. У публики – свет (monde, балы и проч.), у народа – мир (сходка). Публика и народ имеют эпитеты: публика у нас почтеннейшая, народ православный. “Публика, вперед! Народ – назад!” – так многозначительно воскликнул один хожалый”.

Какие-то их жизненные шаги судьбой писались, словно под копирку. Когда в августе 1828 года Грибоедов и Нина Чавчавадзе венчались в древнем соборе Сиони, жених был болен лихорадкой, и у него падала обручальное кольцо – дурной знак. Скверные предчувствия навещают его, но всё равно ему кажется, что впереди у него счастье. Через 3 года в московском храме Вознесения Господня на Большой Никитской во время венчания Александра Пушкина с Натальей Гончаровой случится странное совпадение: надевая кольцо на палец невесте, поэт его выронил – кольцо покатилося по полу, громко звеня в напряжѣнной тишине.

1830 год – смерть в конце лета его “дяди на Парнасе” – Василия Львовича Пушкина, наивного и добродушного московского стихотворца. А ведь был тот не стар, всего-то 64 года. Если кончину можно назвать красивой, то дядюшка умер красиво: взяв в руки томик стихов обожаемого им Беранже и успев перед смертью сказать: **“Как скучны статьи Катенина!”** При чѣм здесь Катенин? Ситуацию прояснит запись в записной книжке Петра Вяземского: *“Накануне был уже он совсем изнемогающий, но, увидя Александра, племянника, сказал ему: “Как скучен Катенин!” Перед этим читал он его в “Литературной газете”.*

Ох, уж эти литераторы, всегда хотят сказать красиво! Это я к тому, что сам Пушкин тоже оставил рукописный след о словах дяди. Прямо тогда в письмо Петру Плетнёву представил свою версию:

*“Бедный дядя Василий! Знаешь ли его последние слова? Приезжаю к нему, нахожу его в забытьи, очнувшись, он узнал меня, погоревал, потом, помолчав: “Как скучны статьи Катенина!” – и более ни слова. Каково? Вот что значит умереть честным воином, на щите, le cri de guerre a la bouche! **”*

* В тридцатые годы XX века, при сносе Симонова монастыря, тело Д. В. Веневитинова было перезахоронено на Новодевичьем кладбище.

** с боевым кличем на устах! (фр.) Пушкин даже в этой ситуации не изменил своей натуре и, желая рассеять мрачные мысли, “подколот” дядюшку. П. И. Бартенов позже писал: “Нам передавали современники, что, услышав эти слова от умиравшего Василия Львовича, Пушкин направился на цыпочках к двери и шепнул собравшимся родным и друзьям его: “Господа, выдемите; пусть это будет последние его слова”.

Ни дневниковой записи Вяземского, ни письму Пушкина не суждено было увидеть свет ещё долго. Зато долго жил Вяземский, и через 44 года в “Русском архиве” он “вспомнил” слова Василия Львовича:

“А вот ещё историческое предсмертное слово. “Как скучен Катенин!” – воскликнул В. Л. Пушкин умирающим голосом. Это исповедь и лебединая песнь литератора старых времён, т. е. литератора прежде всего и выше всего”.

Хотите спросить: так что же всё-таки произнёс пушкинский дядя? Вероятней всего, фразу, запомнившуюся Александру Сергеевичу. Но не без иронии подметила Елена Рабинович:

“Нельзя не заметить, что эффектного “Как скучен Катенин!” Василий Львович не говорил, а “как скучны статьи Катенина!” звучит гораздо менее эффектно, то есть слова эти Вяземский сознательно или, скорее, бессознательно подредактировал ещё в записи 25 августа 1830 года”.

Так или этак попопощался с миром и литературой суждением о Катенине Василий Пушкин, сегодня уже не суть важно. Однако примечательно, что слова Василия Львовича оказались в некотором роде пророческими. После 1832 года Катенин забросил литературу и заперся в своём имении, где жил уединённо, озлобленный и глубоко разочарованный, оттого что читатель не оценил его “должным” образом. Что же касается дяди Пушкина, то, как в таких случаях говорится, вся литературная Москва пришла с ним проститься. За гробом милого говоруна и забавного остряка шли поэты и прозаики: П. А. Вяземский, И. И. Дмитриев, П. И. Шаликов, Н. М. Языков, М. П. Погодин, Н. А. Полевой и любимый племянник покойного Александр Пушкин. Современники рассказывали, что всю дорогу за гробом от Старой Басманной до Донского монастыря Пушкин прошёл пешком – мрачный и подавленный.

Хлопоты и расходы по похоронам Пушкин взял на себя. Единственным наследством, которое досталось ему после смерти дяди, была печатка XVIII века, когда-то полученная Василием Львовичем от отца. В 30-х годах Пушкин запечатывал этой печатью свои письма.

1831 год – уходит из жизни Антон Дельвиг. Лицейскому другу было 32 года. О безвременной смерти праздного сибарита, “сына лени вдохновенного” и насмешника Пушкин, находясь в Москве, узнает от Плетнёва только через четыре дня. Поэтому ни Пушкин, ни его московские друзья на предание земле барона Дельвига в Петербурге на Волковом*, которое состоялось 17 января, не успевали. Через 10 дней после похорон москвичи – Пушкин, Баратынский, Вяземский и Н. Языков – после панихиды “совершили тризну” по нему. Трагическая судьба Дельвига подтверждает пушкинские слова, какие он написал, размышляя о Грибоедове, о превратностях литературной славы: *“Замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов”.*

Дельвиг и Пушкин были не похожи ни характерами, ни внешностью. Но у них, говоря высоким стилем, была общность эстетических потребностей и духовного устремления. После Грибоедова только по Дельвигу Пушкин изливал так свою горечь постигшей утраты, которая для него была и личная, и литературная. Из письма Плетнёву:

“Ужасное известие получил я в воскресенье. <...> Грустно, тоска. Вот первая смерть, мною оплаканная. Карамзин под конец был мне чужд, я глубоко сожалел о нём как русский, но никто на свете не был мне ближе Дельвига. Изю всех связей детства он один оставался на виду – около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели. Считай по пальцам: сколько нас? Ты, я, Баратынский, вот и всё.

Вчера провёл я день с Нащокиным, который сильно поражён его смертью, – говорили о нём, называя его “покойник Дельвиг”, и этот эпитет был столь же странен, как и страшен. Нечего делать! Согласимся. Покойник Дельвиг. Быть так.

Баратынский болен с огорчения. Меня не так-то легко с ног свалить. Будь здоров – и постараемся быть живы”.

“Постараемся быть живы” – сказано тут совсем не для красного словца. Скорбь об утрате друга позже выльется у Пушкина в строфу стихотворения, написанного к лицейской годовщине в 1831 году:

* В 1934 году его прах перенесён в некрополь мастеров искусств (Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры).

*И мнится, очередь за мной,
Зовёт меня мой Дельви́г милый,
Товарищ юности живой,
Товарищ юности унылой,
Товарищ песен молодых,
Пиров и чистых помышлений,
Туда, в толпу теней родных,
Навек от нас утекший гений.*

Строки об ушедшем друге появлялись неоднократно в переписке с друзьями:

“Помимо прекрасного таланта, то была отлично устроенная голова и душа незаурядного закала. Он был лучшим из нас. Наши ряды начинают редеть”.

“<его> жизнь была богата не романическими приключениями, но прекрасными чувствами, светлым чистым разумом и надеждами”.

“Я знал его в Лицее – был свидетелем первого, незамеченного развития его поэтической души – и таланта, которому ещё не отдали мы должной справедливости. С ним читал я Державина и Жуковского – с ним толковал обо всём, что душу волнует, что сердце томит”. (Выделено Пушкиным. – А. Р.)

Характерная деталь: Пушкин посвящает Дельви́гу, если не ошибаюсь, больше, чем кому-либо, стихотворных строк: “Послушай, муз невинных...”, “Блажен, кто с юных лет увидел пред собою...”, “Любовью, дружеством и ленью...”, “Се самый Дельви́г тот, что нам всегда твердил...”, “Послание Дельви́гу” (“Прими сей череп, Дельви́г: он...”, “Кто на снегах возматил Феокритовы нежные розы?...”, “Сонет” (“Суровый Дант не презирал сонета”), “Дельви́гу” (“Мы рождены, мой брат названный...”), “Чем чаще празднует Лицей...”, “Художнику” (“Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую...”). За несколько лет до смерти друга в стихотворении “К Языкову” (1824) Пушкин написал о Дельви́ге: “Мой брат по крови, по душе”. По нынешним понятиям, сказал самое главное, что люди говорят друг другу: ты и я – мы одной крови, мы оба разумные люди, при любых обстоятельствах умеем “сохранить мир своей души, своих интересов, среди которых интерес к литературе – самый главный”.

Причём Пушкин высоко ценил Дельви́га как поэта. И, думается, дружеские отношения не были тому причиной. Пушкин отмечал у него необыкновенное чутье изящного, умение не допускать ничего запутанного, “лишнего, неестественного в описаниях, напряжённого в чувствах”.

Колоритная история: происходя из старинного рода лифляндских баронов, до поступления в Лицей Антон не знал немецкого языка. Зато русским языком владел виртуозно. И русскую литературу, по свидетельству директора лицея Е. А. Энгельгардта, он знал лучше всех своих товарищей. Редкий, даже уникальный для той эпохи случай: в нём не было ничего иноземного. Слова знаменитого романа “Соловей мой, соловей” (1825), воспринимаемые многими как народные, принадлежит перу Дельви́га и изначально были посвящены Пушкину, отправленному из столицы на Юг. Помнится, я упоминал, что даже Пуцин своему другу, когда тот пребывал в Кишинёве, а позже в Одессе, писем не писал. И я понимаю его – вроде как не о чем было: точек соприкосновения не находилось. Тогда как между Дельви́гом и Пушкиным переписка не прерывалась. Им было, о чём поговорить.

В те годы, с 1821-го по 1825-й, Дельви́г служил в Императорской публичной библиотеке – был помощником библиотекаря, Ивана Андреевича Крылова. Лениость не помешала Дельви́гу стать недурным издателем. Он редактировал альманахи “Северные цветы”, составившие конкуренцию “Полярной звезде” Рылеева, и “Подснежник”.

В конце 1829 года родилась идея “Литературной газеты”. Пушкину было отказано в издании газеты. Разрешение было получено Дельви́гом, но при условии отказа от публикации политических известий. Новое периодическое издание, выходившее раз в 5 дней, поддержано Жуковским, Крыловым, Вяземским, Баратынским, Плетнёвым, Катениным, Ф. Глинкой, Кольцовым,

Д. Давыдовым. Пушкин даже готовил его первые номера, а потом передал бразды правления Дельвигу. Главная задача газеты — “знакомить образованную публику с новейшими произведениями литературы европейской и в особенности российской” и противостоять “торговой журналистике” Ф. Булгарина, М. Погодина, Н. Полевого, Н. Греча, О. Сенковского*. Первое говорится вслух, второе подразумевается.

Ещё была задумка-надежда, что издание будет прибыльным. Но выгоды газета не принесла, к тому же просуществовала недолго — была запрещена. Поводом для закрытия стала даже не публикация, а процитированные четыре строки из стихотворения французского поэта Казимира Делавиня на тему об открытии в Париже памятника жертвам Июльской революции. Они были расценены цензурой как прославление революции 1830 года.

Сам факт отстранения Дельвига от редакторства и последующей ликвидации, как теперь в таких случаях говорят, оппозиционной газеты породил цепочку мифов о смерти барона. Одни с уверенностью очевидцев сегодня рассказывают, будто за этот “проступок” Дельвига вызвал Бенкендорф. Мол, шеф жандармов гневно кричал на него, грозил всю троицу (Дельвига, Пушкина и Вяземского) упечь в Сибирь. Такое поведение Бенкендорфа настолько потрясло впечатлительного, нежного душой и сердцем Дельвига, что он, покинув кабинет могущественного чиновника, сел на улице на скамейку и просидел на морозе несколько часов без движения (дело происходило зимой), отчего заболел и спустя месяц умер от воспаления лёгких.

Другие столь же убеждённо уверяют, что редакционные обстоятельства были ничто по сравнению с душевными страданиями его семейной жизни. Мол, однажды он застал свою жену в объятьях брата поэта Боратынского Сергея, был травмирован её изменой, отчего “впал в апатию”... и скончался. Этакая печально-романтическая версия.

Третьи убеждены, что причиной его смерти был тиф.

В реальности всё было куда проще. Дельвиг, к сожалению, с детства не отличался крепким здоровьем. Подхватить заурядную простуду было для него обычным делом. Даже в его письмах нередко присутствуют строки о плохом самочувствии. Вот в марте 1825 года он пишет Пушкину из Витебска:

“Милый Пушкин, вообрази себе, как меня судьба отдаляет от Михайловского.

Я уж был готов отправиться за Прасковьей Александровной к тебе, вдруг приезжает ко мне отец и берёт с собою в Витебск. Отлагаю свиданье наше до 11-го марта, и тут вышло не по-моему. На четвёртый день приезда моего к своим попадаюсь в руки короткой знакомой твоей, в руки Горячки, которая посетила меня не одна, а с воспалением в правом боку и груди. Кровоупускание и шпанские мухи сократили их посещение, и я теперь выздоравливаю и собираюсь выехать из Витебска в четверг на святой неделе, следовательно, в субботу у тебя буду...”

А в феврале 1827 года он вынужден по издательским делам обратиться к Бенкендорфу:

“Ваше превосходительство милостивый государь Александр Христофорович.

*Продолжительная болезнь до сих пор лишает меня возможности лично исполнить препоручения Александра Сергеевича Пушкина. Осмеливаюсь передать их в письме Вашему превосходительству. Прилагаю при сём в особенном пакете пять сочинений Пушкина: поэма “Цыганы”, два отрывка из третьей главы “Онегина”, “19-е октября” и “К***”.*

В один из январских дней начавшегося 1831 года у него подскочила температура. Вызванные к больному врачи Арендт и Саломон (те самые, что через 6 лет будут пытаться помочь Пушкину) констатировали пустяковую простуду. Но, проболев несколько дней, он скончался. Простуда обернулась, как тогда говорили, смертельной болезнью “гнилою горячкой”, сегодня сказали бы, что Дельвиг умер от осложнения при гриппе. Банальная причина смерти современников не устраивала, и они единодушно утверждали, что

* Последнего современный читатель, возможно, припомнит по знаменитому псевдониму его — “барон Брамбеус”. Имя этого критика и беллетриста, любимца русской публики 30-х годов, считалось “синонимом остроумия и глубокомыслия”. Однако с подачи критиков С. Дудышкина и Д. Писарева он вошёл в историю с определением “Сенковский — дилетант русской словесности”.

поэт не пережил унижения от царского сатрапа. Тем не менее, обвинение Бенкендорфа в смерти Дельвига из разряда обвинения его в смерти Пушкина.

Была ли повинна в его смерти жена Софья Михайловна? Нельзя исключить, что экзальтированная, не склонная отказаться ни от бесконечных новых знакомств, ни от постоянных увлечений, она, возможно, доставляла поэту горькие минуты. Но он их скрашивал на стороне. Дельвиг, несмотря на всю свою лень, женщин любил. Да и не было для него новостью её внимание к другим мужчинам. Кстати, чуть ли не единственной подругой жены Дельвига в Петербурге была Анна Петровна Керн, женщина очень тщеславная и своенравная, не только мужчин, но и женщин привлекавшая своей “трогательной томностью в выражении глаз, улыбки, в звуках голоса”. Поселившись по соседству с Дельвигами на Загородном проспекте, в доме купца Кувшинникова, Анна Петровна так много времени проводила с семейством Дельвигов, что складывалось впечатление, что она не дружески их посещает, а живёт у них.

Будучи свободной женщиной, Керн мечтала о поклонении и успехе в кругу литераторов. Это сблизало 20-летнюю Софью Михайловну с многоопытной кокеткой Анной Петровной, у которой тогда были присущие ей близкие отношения с хозяином дома. Как позже в своих воспоминаниях напишет Керн, Дельвиг даже надписал на подаренном ей экземпляре поэмы Боратынского “Бал”: “Жене № 2-й от мужа безномерного”. Брат Дельвига Андрей, живший в ту пору в доме поэта, откровенно недолюбливал Керн, считая, что она “с непонятной целию хочет поссорить Дельвига с его женою”.

После смерти Дельвига в том же году Софья Михайловна вышла замуж за Сергея Боратынского, который уговорил молодую вдову составить его счастье. Изменилась ли она после этого? Вряд ли. В 19 лет став баронессой Дельвиг* и овдовев спустя 6 лет, она вряд ли в свои 25 лет утратила легкомыслие и пылкость женской натуры. Позволю себе думать, что Софья Михайловна не могла и не хотела противостоять новым увлечениям.

Что же касается закрытия “Литературной газеты”, то винить здесь одного лишь генерала Бенкендорфа вряд ли следует. Справедливой будет сказать, что здесь совпали интересы Александра Христофоровича и Фаддея Венедиктовича Булгарина. Именно в ту пору издатель “Северной пчелы”, чьё творчество подвергалось осмеянию на страницах выпускаемой Дельвигом и Пушкиным газеты, начал свою ответную кампанию против “обидчиков”. “Северная пчела” развернула открытую травлю Пушкина. Булгарин обвинил “Литературную газету” в политической неблагонадёжности, привлекая тем самым к ней внимание III Отделения. В результате та была взята жандармским ведомством, как сказали бы специалисты, в разработку. “Литературная газета” в ответ на это публиковала эпиграммы и памфлеты, разоблачая Булгарина как агента и шпиона, работающего, засучив рукава, на ведомство Бенкендорфа. Авторы обоих изданий сцепились не на шутку. И когда в октябре 1830 года в “Литературной газете” промелькнула цитата из стихотворения К. Делавиня, Бенкендорф вмешался.

Почему? Ничего личного. Решение графа Александра Христофоровича Бенкендорфа абсолютно вписывается в его жизненные принципы. Для него Дельвиг – ещё один поэт и ненавистник всякой власти. Ибо исповедует идеи, которые чрезвычайно опасны. И, следовательно, для государственного порядка и общественного спокойствия он, если глянуть в суть, опасный революционер.

На чём строилась логика Бенкендорфа? Когда Дельвиг издавал альманах “Северные цветы”, среди авторов его сплотился круг поэтов, близкий к идеям декабристов? Сплотился!

“Литературная газета”, которую барон затеял выпускать, печатала, пусть даже анонимно, стихи сосланных декабристов Бестужева и Кюхельбекера? Печатала!

И с Пушкиным, политически неблагонадёжным человеком, состоящим под надзором полиции, Дельвиг в друзьях? В друзьях! Одного поля ягоды, выученики Лицея.

В августе Дельвиг получил выговор за фразу “аристократов к фонарю”, взятую из французской революционной песни? Получил! Но выводов не сделал.

* До этого у неё уже были два романа – с однокурсником Пушкина и Дельвига по Лицею Константином Гурьевым и с будущим декабристом Петром Каховским, который даже сватался к Софье, но получил отказ от её отца.

Потому как через два месяца, в октябрьском номере в газете уже не фраза, а целое зловредное четверостишие процитировано.

Разве мало оснований для отстранения Дельвига от редактирования газеты? Вот и Булгарин говорит, что лучше бы “Литературную газету” прикрыть. А он плохого не посоветует.

Что уж скрывать, это был не единственный случай, когда Александр Христоворвич становился на сторону Фаддея Венедиктовича — были они тоже “одной крови”, оба разумные люди, при любых обстоятельствах умели сохранить мир своей души, своих интересов, которые просто не совпадали с миром душ Пушкина и Дельвига.

Не в том дело, что подобная реконструкция событий, как кому-то покажется, упрощена. А в том, что она воспроизводит обыденное мышление, присутствующее не только заурядным полицейским и обывателям, но и высокопоставленным чинам.

Напоследок осталось отметить ещё одну ниточку, протянувшуюся между друзьями с лицейских лет. Именно Дельвиг заказал художнику О. А. Кипренскому портрет Пушкина, а затем гравёру Н. И. Уткину — сделать гравюру портрета для “Северных цветов”*. Он же настоял, чтобы на заднем плане появилось изображение Музы в виде небольшой античной бронзовой статуи, держащей в руках лиру.

1836 год — весной, после продолжительной болезни, умерла Надежда Осиповна Пушкина. Сейчас трудно сказать, с чего и как её болезнь начиналась. С чего вести отсчёт: с появления первой боли, с первого приглашения врача, с времени озвученного диагноза, с впервые услышанного от врачей приговора? Или с поиска возможной причины болезни?

Можно лишь заметить, как мать Пушкина захватывала болезнь, растянувшаяся на несколько лет, которые пролетели как один миг. В сентябре 1831 года его сестра Ольга писала мужу, что дела у отца очень плохи: “... он должен в казну 175 000 рублей и не в состоянии заплатить проценты”; ему грозит продажа имения с молотка.

Можно ли увидеть причину болезни в бесхозяйственности мужа, итогом которой становятся безденежье и неустроенность жизни, заботы и волнения, подтачивающие её и без того слабое здоровье? Пройдёт немного времени, и Евпраксия Николаевна Вревская**, заметив, что здоровье Н. О. Пушкиной продолжает ухудшаться, а “на докторов нет денег”, сочтёт необходимым подарить Надежде Осиповне тёплую шубку.

Проболел всю зиму 1834–1835 годов, она стала, по её собственным словам, такой старой и худой, что внучка и внук даже пугались при виде своей бабушки. В октябре 1835-го родители Пушкина живут в Петербурге: Надежда Осиповна — у своей подруги В. А. Княжниной, а Сергей Львович пользуется приятельским гостеприимством графа П. А. Толстого. Приехавшая в связи с болезнью матери из Варшавы дочь ещё не нашла родителям квартиру, платит за которую нечем.

Здоровье Надежды Осиповны ухудшалось с каждым днём. Его не добавляет полученное с Кавказа письмо её любимца Льва, как всегда, писавшего о своих долгах. Ольга Сергеевна в письме сетует мужу на то, что сейчас нет здесь Александра, который имеет талант успокаивать мать.

* Этот портрет Кипренского находился в семье Дельвига до смерти хозяина, после чего Пушкин выкупил его у вдовы друга. Ныне знаменитое полотно можно видеть в Третьяковской галерее. Гравюра с портрета Пушкина была отпечатана на титульной странице альманаха “Северные цветы” за 1828 год. Сама же гравюра позднее оказалась в коллекции у приятеля Пушкина Ф. Ф. Вигеля, который затем передал её в дар Московскому университету.

** Е. Н. Вревская — дочь П. А. Осиповой от её первого брака с Н. И. Вульфом. “Хозяйка пиров” в Тригорском, разливавшая по чашам серебряным ковшиком жёлнку, любимую Пушкиным. Он называл её Зина, Зизи. Их отношения со временем обернулись доброй дружбой. Вскоре после женитьбы Пушкина она тоже вышла замуж и переехала в имение Голубово в 18 вёрстах от Тригорского. Муж её, барон Б. А. Вревский, был другом Льва Пушкина. В замужестве она родила 11 детей. В последний раз с Пушкиным она виделась 26 января 1837 года в Петербурге у родственников мужа. Он сообщил ей о предстоящей дуэли с Дантесом и о всех предшествовавших обстоятельствах, “открыл ей всё своё сердце”, но Евпраксия Вревская “не умела или не смогла помешать” гибели поэта. Неизвестно, какие подробности сообщил ей при фактически предсмертной встрече Пушкин, но с того момента её ранее тёплые отношения с Натальей Николаевной были испорчены.

Вернувшийся из Михайловского в Петербург Пушкин ошеломлён последними семейными событиями. Из письма П. А. Осиповой, датированного 26 октября 1835 года:

“Бедную мать мою я застал почти при смерти, она приехала из Павловска искать квартиру и вдруг почувствовала себя дурно у госпожи Княжнинной, где остановилась. Раух и Спасский потеряли всякую надежду. В этом печальном положении я ещё с огорчением вижу, что бедная моя Натали стала мишенью для ненависти света. Повсюду говорят: это ужасно, что она так наряжается, в то время как её свёкру и свекрови есть нечего и её свекровь умирает у чужих людей. Вы знаете, как обстоит дело. Нельзя, конечно, сказать, чтобы человек, имеющий 1200 крестьян, был нищим. Стало быть, у отца моего кое-что есть, а у меня нет ничего. Во всяком случае, Натали тут ни при чём, и отвечать за неё должен я. Если бы мать моя решила поселиться у нас, Натали, разумеется, её бы приняла. Но холодный дом, полный детворы и набитый гостями, едва ли годится для больной. Матери моей лучше у себя. Я застал её уже перебравшейся. Отец мой в положении, всячески достойном жалости. Что до меня, я исхожу жёлчью и совершенно ошеломлён. Поверьте мне, дорогая госпожа Осипова, хотя жизнь и сладкая привычка, однако в ней есть горечь, делающая её, в конце концов, отвратительной, а свет – мерзкая куча грязи. Тригорское мне милее...”

В начале 1836 года боль в печени у Надежды Осиповны стала невыносимой, и врачи пришли к выводу, что организм перестал справляться с болезнью. Это время, самое тяжёлое для неё, Александр Сергеевич провёл рядом с ней. Тронутая вниманием сына и тем, как он заботится о ней, пытается облегчить муки, Надежда Осиповна решилась на откровенный разговор. Вспоминая былое, говоря, что “сожалеет о несправедливом отношении”, просила прощения. Матери, всю жизнь не скрывавшей предпочтения, которое оказывала сперва дочери, а потом – меньшему сыну Льву Сергеевичу, нелегко дались эти предсмертные слова.

15 марта П. А. Вяземский сообщает И. И. Дмитриеву, что “теперь бедный Пушкин печально озабочен тяжкою и едва ли не смертельною болезнью матушки своей”. Она умерла 26 марта, не дожив трёх месяцев до 61-го года. После её кончины Александр Сергеевич всё повторял, что судьба жестоко с ним обошлась и он “недолго пользовался нежностью материнской”.

Сопровождать тело матери для погребения в Святогорский монастырь Пушкин отправился единственный из всей семьи. 13 апреля, похоронив родительницу, он рядом с её могилой купил участок земли для себя, заплатив монастырю за это 10 рублей. Подарил также обители икону Богородицы в серебряном окладе и бронзовый подсвечник, отделанный малахитом.

Именно в тот день, 13 апреля 1836 года, передавая Дмитриеву первую книжку “Современника”, Вяземский небезразлично выскажется, совмещая литературное и жизненное:

“...самого же Пушкина здесь нет... Скончалась его матушка, и он отправился в Псковскую губернию, где она желала быть погребена. Печальные заботы его в продолжении болезни и при самой кончине её, может быть, повредили лучшей отделке и полноте первой книжки”.

Каждая из смертей заставляла задуматься об уготованной ему самому судьбе. Ещё в 1830 году своё понимание жизни Пушкин выразил в строчке: “Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать”. И надо заметить, лирический герой не отвергает такую, глубоко трагичную, жизнь. А сама жизнь, особенно важно, не виделась ему как нечто такое, что необходимо устранить.

Похоже, самым большим страданием Пушкина той поры – смерть матери это только подтвердила – были его заботы, как тогда говорили, по приисканию денег. Как, впрочем, и ранее, когда скончался дядюшка Василий Львович, в те дни племянник, подтрунивая над “другим Пушкиным”, который даже перед кончиной продолжал литературные споры, вынужден был признать, что “хлопоты по сему печальному случаю расстроили опять мои обстоятельства. Не успел я выйти из долга, как опять принуждён был задолжать”.

Он буквально тонул в счетах, которые слетались со всех возможных и невозможных сторон. Порой уже на них, как на рукописях стихотворений, появлялись пушкинские рисунки, запечатлевшие облик жены. Так, на обороте счёта издания альманаха “Северные цветы на 1832 год” Пушкин набрасывает рисунок молодой Натальи Николаевны в платье с пышными рукавами. Он схож

с тем акварельным портретом, который как раз завершил Александр Павлович Брюллов. Ещё когда они жили в Царском Селе, Нащокин в письмах настоятельно требовал прислать ему изображение Натальи Николаевны. Пушкин вынужден был оправдываться, что “портрета не посылает за неимением живописца”.

Договориться с Брюлловым смог лишь к декабрю. А тот приступил к работе, вероятно, только в январе. К тому времени были доставлены и выкупленные Нащокиным по поручению Пушкина бриллианты жены, в них она и позировала художнику. Это единственный известный портрет Натальи Николаевны, исполненный при жизни Пушкина. На полотне прелестная 19-летняя Натали изображена в открытом бальном платье с высокой причёской по тогдашней моде, с ниткой жемчуга с подвеской на лбу и с длинными бриллиантовыми серьгами в ушах.

В живописи подобные полотна относят к жанру портрета женщины, изукрашенной драгоценностями. И что важно, ювелирные украшения из драгоценных камней, выписанные с большой тщательностью, здесь не отходят на второй план, а, напротив, являются важными участниками композиции. Благодаря тончайшей проработке драгоценностей, они выглядят “как живые” и свидетельствуют о статусе женщины.

Выразительный портрет, исполненный А. П. Брюлловым, отразил тип романтической женщины того времени, идеалом которой стало “неземное” создание, подобное мотыльку. Парадный по своему характеру, он ограничивался “прелестной головкой” и перемещался в область прозрачной акварели с эффектом воздушности. В этом ряду известных портретов “пушкинских” женщин Натальи Гончаровой, Дарьи Фикельмон, как ни грустно, уже не видна личность портируемой. Она заслонена пышностью нарядов и роскошью драгоценных атрибутов. Предпочтение отдавалось украшениям с жемчугом. Ведь их носили венценосные особы королевских династий Европы, российские императрицы и самые состоятельные дамы высшего света, которые видели в роскоши украшений символы власти, престижа и богатства. В отдельных случаях у таких портретов была ещё одна цель – показать, что красоту хозяйки невозможно затмить.

В ситуации с Пушкиным, если задуматься, такой портрет являл собой явный нонсенс. Начало XIX века, когда А. П. Брюллов писал портрет Натальи Пушкиной, было куда ближе XVIII столетию (приходится вспомнить, что XVII-XVIII века стали периодом возникновения первых школ ювелирного искусства), нежели нынешнему XXI веку. Сегодня никого не удивит особа, заходящая днём в супермаркет в затрапезных джинсах и с бриллиантами в ушах. Всё течёт, всё меняется. А тогда язык украшений и драгоценных камней был у всех “на слуху”.

Бриллиантовый этикет был строг, имелись неписанные, однако строгие правила выбора и ношения украшений. Комбинировать “короля драгоценных камней”, особенно кристаллы “чистой воды”, с другими драгоценными камнями правила запрещали. Считалось, что огранённые алмазы вполне самостоятельны в своём образе. Этикет особенно был строг в отношении жемчуга, так как было известно, что жемчуга приглушают броскость алмазов, как говорилось, спуская их с облаков на землю.

И есть ещё одна маленькая, но существенная деталь. Натали по знаку Зодиака была “девой”. И если у человека, родившегося под этим знаком, слабый характер, то жемчуг ему противопоказан. Он только может усугубить жизненную ситуацию.

Вот и получается, что в нашем случае портрет жены говорил не о богатстве, тем более не о власти, а скорее о тщеславии заказчика-мужа. Потому что в реальной жизни Пушкин издерживал явно больше, чем зарабатывал. Размер назначенного царём жалованья был несопоставим с тратами. После закрытия “Литературной газеты”, пытаясь найти выход, Пушкин замыслил было издавать газету под названием “Дневник”, но затея провалилась, не начавшись. Официальная записка, где он обосновывал своё желание выпускать ежедневную газету, поданная в III Отделение в мае 1832 года, провалилась там до октября (Бенкендорф отсутствовал). Осенью разрешение было дано при условии, что ответственным редактором газеты станет Н. И. Тарасенко-Отрешков, тесно связанный с III Отделением.

В июле 1833 года после рождения сына Александра Пушкин более всего озабочен поиском денег: он ведёт переписку с переводчиком Морского

министерства А. А. Ананьиним о получении взаймы полутора-двух тысяч рублей, потом берёт в долг у книгопродавца И. Т. Лисенкова три тысячи рублей на полгода.

В том же 1833 году 1 сентября, в день очередных выплат по счетам, Наталья Николаевна, в отсутствие мужа, пишет брату Дмитрию письмо с просьбой денег:

“По поводу денег у меня к тебе просьба, которая, возможно, удивит тебя, но что делать, я сейчас в таком затруднительном положении и не могу обратиться к мужу, местопребывания которого не знаю, потому что он путешествует по России и только в конце сентября или начале октября будет в своём Нижегородском поместье, вот почему я беру на себя смелость умолять тебя помочь мне в том стеснённом положении, в каком я нахожусь, прислав по крайней мере несколько сот рублей, если, конечно, это тебя не обременит, в противном случае откажи мне наотрез и не сердись, что я обратилась к тебе с этой просьбой. Будь уверен, дорогой друг, что только необходимость вынуждает меня прибегнуть к твоему великодушию, так как иначе я никогда бы не решилась беспокоить тебя...”

Дело в том, что Наталья Николаевна сняла новую квартиру, которая дороже предыдущих, и при заключении контракта с хозяином дома должна была выплатить аванс:

“Муж мой оставил мне достаточно денег, но я была вынуждена все их отдать хозяину квартиры, которую только что сняла; я не ожидала, что придётся дать задаток 1600 рублей, вот почему я теперь без копейки в кармане. Ради бога, ответь мне поскорее; до 15 числа этого месяца твоё письмо ещё может застать меня на Чёрной речке, а позднее я буду уже в городе. Я дала бы тебе адрес моего нового дома, но я сама ещё точно его не знаю; мне кажется, это дом некоего г-на Оливье, но вряд ли это тебе поможет”.

Насколько разумно Наталья Николаевна распорядилась оставленными ей деньгами? Боюсь, спустя без малого два века на этот вопрос не ответить. Да и сам Александр Сергеевич в этой области большим умением не отличался. Можно предположить, что сердце-вещун не зря ему в те дни диктовало письмо жёнушке:

“Мой ангел, кажется, я глупо сделал, что оставил тебя и опять начал кочевую жизнь. Живо воображаю первое число. Тебя теребят за долги Параша, повар, извозчик, аптекарь и т. д., у тебя не хватает денег, Смирдин перед тобой извиняется, ты беспокоишься – сердись на меня – и поделом”.

С весны 1834 года в отношениях с отцом у Александра Сергеевича всё больше преобладали финансовые “разборки”. Сам он сложившуюся ситуацию в письме к Нащокину (март 1834 года) излагал так:

“Обстоятельства мои затруднились ещё вот по какому случаю: на днях отец мой посылает за мною. Прихожу – нахожу его в слезах, мать в постеле – весь дом в ужасном беспокойстве. Что такое? Имение описывают. – Надо скорее заплатить долг. – Уж долг заплачен. Вот и письмо управителя. – О чём же горе? – Жить нечем до октября. – Поезжайте в деревню. – Не с чем. – Что делать? Надобно взять имение в руки, а отцу назначить содержание. Новые долги, новые хлопоты. А надобно: я желал бы и успокоить старость отца, и устроить дела брата Льва...”

Взяв управление болдинским имением на себя, в чём, надо признать, не был сведущ, Пушкин надеялся, что сможет спасти Болдино от разорения, до которого довёл его отец, и тем самым обеспечить будущее своих детей. Болдино приносило 22 тысячи рублей в год. Но одного казённого долга на нём числилось 190 тысяч, требовавших уплаты 12-ти процентов годовых. Чистого дохода оставалось едва 10 тысяч. Из них по полторы тысячи рублей в год полагалось платить Ольге и Льву. Отцу с матерью оставалось около семи тысяч рублей.

Однако эти доходы не в состоянии были покрыть беспардонные траты, какие позволял себе брат Лев Сергеевич. Он, например, снимал в Петербурге лучшие гостиничные номера по 200 рублей в неделю, занимал тысячи рублей, ссылаясь на старшего брата, и тут же проигрывал их, беспечно тратил деньги, которых не имел, а платить за него приходилось Александру Сергеевичу. Зачастую в приходящих от него письмах, написанных в это время, речь шла только о денежных тратах. Пушкин пытался на цифрах показать брату трудное материальное положение всей семьи и непомерные его, Льва, расходы,

но безрезультатно. Весной 1835 года Александр Сергеевич в очередной раз писал ему:

“Надо надеяться, что... ты займёшься собственными делами и потеряешь свою беспечность и ту лёгкость, с которой ты позволял себе жить изо дня в день. С этого времени обращайся к родителям. Я не уплатил твоих мелких карточных долгов, потому что не трудился разыскивать твоих приятелей — это им следовало обратиться ко мне”.

По отношению к брату Пушкин был нередко резок, называл его “ветрогоном и лентяем”, но в одном из писем жене (летом 1834 года) справедливо писал:

“Лев С. <ергеевич> очень себя дурно ведёт. Ни копейки денег не имеет, а в домино проигрывает у Дюме по 14 бутылок шампанского”.

Не лучше вёл себя и муж сестры Павлищев, который постоянно предъявлял Пушкину денежные претензии, ссылаясь на нужду, которую испытывает Ольга Сергеевна. Ещё не получив от Сергея Львовича доверенности на управление Болдином, Пушкин в один месяц вынужден был выплатить отцу 866 рублей и за Льва Сергеевича 1330 рублей. Как писал Пушкин Павлищеву, “состояние моё позволяет мне не брать ничего от доходов батюшкина имения, но своих денег я не могу и не в состоянии приплачивать”. Финансовые хлопоты, регулярно возникающие из-за родственников, признавал он, “испортили мне столько уже крови, что все пиявки дома нашего её мне не высосут”.

В 1834 году Пушкин получает “приданое” Натали — двух её сестёр, которые поселились в его доме и жизнь которых надо было устраивать. Старшую, Екатерину, берут во фрейлины, но без предоставления места во дворце. Её светская жизнь тоже требовала немалых затрат, которые в той или иной мере становятся дополнительной нагрузкой для пушкинского бюджета.

А ещё приходилось брать на себя заботы Натальи Николаевны о любимом её брате Сергее, который служил в Новгороде, имея жалованье в 250 рублей, из которых должен был платить за квартиру, содержать прислугу и лошадей.

Не будет сгущением красок сказать, что выплата долгов родственников неизменно только ухудшала положение самого Пушкина. Потому что стоило ему уплатить одни долги или выкупить выданные “Лёвушкой” векселя, как появлялись новые его кредиторы, прознавшие, что Пушкин готов расплачиваться за брата. После оплаты одних трат Ольги Сергеевны её муж тут же предъявлял следующие счета, оплаты которых он требовал обычно от своего тестя в виде обещанного содержания Ольги Сергеевны.

В конце концов, Пушкин выделил Льва Сергеевича, о чём написал ему по возможности сдержанное письмо:

“Я медлил с ответом тебе, потому что не мог сообщить ничего существенного. С тех пор, как я имел слабость взять в свои руки дела отца, я не получил и 500 р. дохода; что же до займа в 13 000, то он уже истрачен. Вот счёт, который тебя касается:

*Энгельгардту 1330
В ресторацию 260
Дюме 220 (за вино)
Павлищеву 837
Портному 390
Плещееву 1500
Сверх того ты получил ассигнациями 280
(в августе 1834 г.) золотом 950*

итого 5767

Твоё заёмное письмо (10 000) было выкуплено. Следовательно, не считая квартиры, стола и портного, которые тебе ничего не стоили, ты получил 1230 р.

Так как матери было очень худо, я всё ещё веду дела, несмотря на сильнейшее отвращение. Рассчитываю сдать их при первом удобном случае. Постараюсь тогда, чтобы ты получил свою долю земли и крестьян. Надо полагать, что тогда ты займёшься собственными делами и потеряешь свою беспечность и ту лёгкость, с которой ты позволял себе жить изо дня в день. (С этого времени обращайся к родителям). Я не уплатил твоих мелких карточных долгов, потому что не трудился разыскивать твоих приятелей — это им следовало обратиться ко мне”. (Пер. с фр.)

В новогодние дни (3 и 4 января) 1835 года Пушкин с женой и дочерью навещает родителей в новой их квартире и даёт им на расходы 165 рублей. Надежда Осиповна в письме к дочери рассказывает об их приходе и делится новостями, что больна, что очень слаба, что Натали много выезжает со своими сёстрами:

“... однажды она привела ко мне Машу, которая так привыкла видеть одних щеголих, что, взглянув на меня, подняла крик, и воротившись домой, когда у неё спросили, почему она не захотела поцеловать бабушку, сказала, что у меня плохой чепец и плохое платье”.

Легкомыслие Льва Сергеевича столь велико, что потрясает даже родителей. Ведь младший сын ставит старшего в ситуацию выбора: выплачивая его значительные долги, Александр Сергеевич лишается возможности давать матери и отцу необходимое. Из письма Н. О. Пушкиной дочери:

“Не вини Александра, ежели до сей поры он ничего вам не выслал; это не его вина и не наша, это долги Леона довели нас совершенно до крайности. Заложив последнее наше добро, Александр заплатил, что должен был твой брат, а это дошло до 18 тысяч. Он лишь очень мало мог дать ему на дорогу в Тифлис. В этом месяце он ждёт денег из Болдина и что сможет сделать для вас, сделает непременно, ибо это лежит у него на сердце”.

1 июня 1835 года Пушкин для поправки своих финансовых дел обратился с письмом к Бенкендорфу, понимая, что о нём будет доложено императору. Написание далось ему непросто, рождаются даже два черновика. Он испрашивал разрешения стать издателем политической и литературной газеты, во всём сходной с “Северной пчелой”:

“... что же касается статей чисто литературных (как то пространных критик, повестей, рассказов, поэм и т. п.), которые не могут найти место в фельетоне, то я хотел бы издавать их особо (по тому каждые 3 месяца, по образцу английских Reviews)”.

В издании газеты Пушкину было отказано. После чего для приведения в порядок своих дел он просит царский заём в сто тысяч рублей. Прошение о столь крупном займе осталось как бы незамеченным. Но царь допустил выделение некой суммы, так сказать, на текущие расходы. После доклада Николаю I граф Бенкендорф сделал на письме Пушкина помету-резюме его разговора с императором:

“Есть ли ему нужны деньги, государь готов ему помочь, пусть мне скажет, есть ли нужно дома побывать, то может взять отпуск на 4 месяца”.

Один из двух черновиков содержит набросок пушкинских расходов на год. Первой значится сумма в 6 тысяч рублей за квартиру, снятую с 1 мая 1835 года по 1 июня 1836-го. Далее следует подсчёт стоимости аренды у извозчика Ивана Савельева четвёрки лошадей, закладываемых в экипажи Пушкина, — ещё 4 тысячи рублей. Семейный стол, планирует Пушкин, будет обходиться по 400 рублей в месяц на общую сумму 4800 рублей. Главные статьи расхода составляли сумму 26 800 рублей. Ещё прибавлены разные издержки на тысячу рублей, траты на платье, театр и прочее ещё на 4 тысячи. В итоге набегала сумма в 30 тысяч рублей. Надо понимать, так для себя Пушкин обособывал просимый им займ.

Осень 1835 года оказалась для Пушкина тяжёлой и бесплодной — не было ни одной новой крупной вещи, готовой для печати. “История Пугачёва” потерпела коммерческий крах: отпечатанная огромным, сопоставимым с “карамзинским”, тиражом в 3000 экземпляров книга в продаже, как говорят в таких случаях, не пошла. И в прессе по отношению к поэзии Пушкина ощущается некий поворот. Критик Белинский пишет способные взбесить слова: *“Осень, осень, холодная дождливая осень после прекрасной роскошной весны”.*

Поэтому журнальный замысел — единственный шанс как-то выпутаться из долгов. Пушкин попробовал переориентироваться на Москву: на “Телескоп” Надеждина и “Московский наблюдатель” Андросова, но что-то не удалось. И с петербургским журналом Сенковского “Библиотека для чтения” не сложилось. Собственный журнал нужен был, чтобы содержать семью, помня о выходах в свет Натали, чтобы платить за квартиру, держать на плаву родственников и не забывать слов Николая I, как-то передавшего, что на балу “неприлично ему одному быть во фраке, когда мы все были в мундирах”.

Начало 1836 года внесло некоторые коррективы в планируемое им житьё-бытьё. Лев Сергеевич проигрался в карты. Долг чести составил те самые

30 тысяч рублей, которые Пушкин полагал для “прожитка” всего его семейства в течение года.

Понятно теперь, почему более всего Пушкин в то время озабочен предстоящим изданием вместе с Плетнёвым, при обязательном участии Гоголя, трёхмесячного журнала “Современник”. На него возлагаются последние материальные надежды. В канун нового, 1836 года Пушкин извещён Бенкендорфом о решении императора: издание “позволено через Цензуры” и поставлено в полную зависимость от министра народного просвещения Уварова. Того самого, по поводу которого годом раньше Пушкин заметил: “Царь любит, да псарь не любит”.

Тогда могло сложиться ещё хуже. Бенкендорф подал царю докладную записку о желании Н. А. Полевого* писать историю Петра I. Она составлена им таким образом, что её антипушкинский характер очевиден: Бенкендорф явно протезирует поступившее предложение. Тем не менее Николай I мнение Бенкендорфа не поддержал, отдав предпочтение Пушкину:

“Историю Петра Великого пишет уже Пушкин, которому открыт архив Иностранной Коллегии; двоим и в одно время поручить подобное дело было бы неуместно...”

17 марта 1836 года Александру Сергеевичу пришлось заложить за 630 рублей свой брегет и серебряный кофейник. Он должен всем: лавочникам, камердинеру, дровянику, ресторатору, ростовщикам. Дело дошло до того, что Пушкин закладывает чужое серебро, принадлежавшее его свояченице Александре Николаевне Гончаровой (потому что свои шали и жемчуга уже заложены ростовщику Шишкину).

Сохранились письма книгопродавца Беллизара. Первое, датированное августом 1835 года, — довольно вежливое.

“Честь имеем препроводить Вам на обороте счёт расходов по печатанию, гравированию, пересылке и проч. портрета Пугачёва, на сумму р. 750. 15 коп. Мы произвели эти расходы, сделав Вам любезность, и надеемся, что Вы сообразовали их нам немедленно возместить.

К сожалению, <...> мы вынуждены напомнить Вам, что, за вычетом всех произведённых Вами платежей, счёт наших поставок 1834 г. составляет ещё сумму в 1566 р. 38 к.” (Пер. с фр.)

Во втором, датированном мартом 1836 года, уже чувствуется вполне объяснимое раздражение:

“Так как просьбы, с которыми мы обращались к Вам много раз, неизменно оставались без результата, мы вынуждены повторить шаг, который не может быть Вам более донучен, чем он нам неприятен.

При настоящем письме Вы найдёте общую выписку из нашего счёта, откуда следует, что Вы нам должны ещё 1100 р. за книги, отпущенные в 1834 г. (!) и, без малого, такую же сумму за отпущенные в 1835 г.”. (Пер. с фр.)

Только после смерти Пушкина опека удовлетворила претензии Беллизара. Смерть Пушкина подвела итоговую черту — всего в общей сложности за ним числилось полтора ста тысяч долга.

Знаменитая морошка, которую ему принесли перед самой смертью, осталась также неоплаченной. Позже в опеку был представлен счёт из лавки: “29 января отпущено 2½ ф. мочёной морошки, ценою 2 р.”.

История про морошку “ценою 2 р.”, случившаяся в финале жизни, позволяет совсем по-иному взглянуть на время от времени возникавшее у него желание, а иной раз и мечты покинуть Россию, которые оставались мечтами по вполне прозаической причине. Ею было банальное отсутствие денег.

* Николай Алексеевич Полевой — русский писатель, драматург, литературный и театральный критик, журналист, историк и переводчик. Брат критика и журналиста К. А. Полевого и писательницы Е. А. Авдеевой, отец писателя и критика П. Н. Полевого. Будучи идеологом “третьего сословия”, начинал как либерал и позволял себе нападки на дворянскую литературу, но после закрытия издаваемого им журнала “Московский телеграф” по личному распоряжению Николая I за неодобрительный отзыв Полевого о пьесе Н. В. Кукольника “Рука всевышнего отечество спасла” Полевой сменил либеральные взгляды на верноподданнические и стал издавать иллюстрированный ежегодник “Живописное обозрение достопамятных предметов из наук, искусств, художеств, промышленности и общежития, с присовокуплением живописного путешествия по земному шару и жизнеописаний знаменитых людей”.

Надо ли говорить, что тревоги душевные, как и заботы семейные, материальные, о том, “чем нам жить будет?”, – не позволяли ему нормально работать. И – вот что в данном случае важно – они не просто мешали работать, а, воспользуясь мыслью Юрия Михайловича Лотмана, бедность в реальном быту оборачивалась “отсутствием независимости, бывшей для Пушкина синонимом чести”. Такое положение уже не только выводило его из себя, оно ломало сознание литературного гения. Тем самым формировалась почва, на которой могла разразиться катастрофа.

Жизнь решает за Пушкина и поворачивается к нему тем боком, где ни счастья нет, ни покоя и воли, где свет не мил. Мечта о бегстве в “обитель дальнюю трудов и чистых нег” осознаётся не реализуемой. Последняя надежда, что, уединившись в деревне, он сможет отстоять свою свободу творчества и наладить денежные дела, тает, едва появившись.

В тревоге за будущее семьи, Александр Сергеевич не находит ничего лучшего, как остаться в Петербурге и принять решение взять ссуду в 30 000 рублей в государственном казначействе, обязавшись погасить её за счёт своего жалованья. Что в результате? Он попадает в ещё большую материальную зависимость от царя, что вызывает депрессию. И самое скверное, что в начале сентября 1835-го Пушкин, приехав в Михайловское и собираясь провести там три-четыре месяца, впервые чувствует, что ему не пишется. А ведь он надеялся, что вдохновение, обычно посещавшее его осенью, вновь возникнет. Но осенние дни текли один за другим, а вдохновение не давало о себе знать. Его письма говорят о нарастающем душевном смятении.

“Писать не начинал и не знаю, когда начну...” (14 сентября).

“Я всё беспокоюсь и ничего не пишу, а время идёт” (21 сентября).

“Вообрази, что до сих пор не написал я ни строчки, а всё потому, что не спокоен” (25 сентября).

“Авось распишусь” (2 октября).

Не расписался. За полтора месяца в Михайловском из-под пера Пушкина вышли всего одно законченное стихотворение (“Вновь я посетил...”) и незавершённая повесть “Египетские ночи/”. При этом он не смог завершить ни одно из ранее начатых им больших произведений. В середине октября он жалуется П. А. Плетнёву:

“Такой бесплодной осени отроду мне не выдавалось. Пишу, через пень колоду валю. Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен”.

Вместо вдохновения появляются раздражительность и страх по поводу истощения творческих сил. Полученное в середине зимы царское разрешение выпускать журнал “Современник”, который, полагал Пушкин, позволит ему вырваться из тисков постоянного безденежья, надежд не оправдал. Лишь прибавил новых трудностей.

Из своего удаляющегося от тех дней будущего нам легко видеть своеобразные указатели, которые должны были заставить Пушкина “оглядываться”, чтобы осознать, что его выводит из себя, что лишает прочного, надёжного пространства, что ждёт впереди, что, в конце концов, приведёт к смерти. Зачастую представляется, что, не женись он на Гончаровой, избери себе в жёны другую, и быть тогда его судьбе совсем иной. Да, конечно, иной. Но уместно вспомнить простую гештальтистскую аксиому: целое не является простой суммой частей. Стоит заменить один элемент в системе – меняется вся система, меняется её работа, её путь, её смысл.

Тут есть о чём задуматься: а хотел ли он таких изменений? Готов ли был менять в собственной жизни характер своего дела, путь, каким он шёл, сам смысл жизни, какой он находил единственным для себя?